

Издание подготовлено в рамках Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «История, языки и литературы славянских народов в мировом социокультурном контексте»

*Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»*

Зализняк А. А.

3 55 «Слово о полку Игореве»: Взгляд лингвиста. — 2-е изд., доп. — М: Рукописные памятники Древней Руси, 2007. — 416 с. — (Studia philologica. Seris minor).

ISBN 5-9551-0188-8

Уже двести лет не прекращается дискуссия о том, что представляет собой «Слово о полку Игореве». — подлинное древнерусское произведение или искусную подделку под древность, созданную в XVIII веке. С обеих сторон в эту дискуссию вложено много страсти, в нее часто приводятся и различные ненаучные элементы, так что во многих случаях нелегко отделить в ней научную аргументацию от эмоциональной.

Гибель единственного списка этого произведения лишает исследователей возможности произвести анализ почерка, бумаги, чернил и прочих материальных характеристик первоисточника. Наиболее прочным основанием для решения проблемы подлинности или поддельности «Слова о полку Игореве» оказывается в таких условиях язык этого памятника.

Настоящая книга посвящена изучению именно лингвистической стороны данной проблемы.

Второе издание книги расширено по сравнению с первым: добавлен разбор книги А. А. Зимина «Слово о полку Игореве» (СПб., 2006) и подробный анализ гипотезы о позднем создании «Слова о полку Игореве» методом подражания подлинным древним произведениям.

Книга предназначена как для специалистов-филологов, так и для широкого круга читателей, интересующихся «Словом о полку Игореве» и его происхождением.

ББК 63.4

В оформлении переплета использована Киевская Псалтирь 1397 года

ISBN 5-9551-0188-8

О А. А. Зализняк, 2007

© Рукописные памятники Древней Руси, 2007

МОЖНО ЛИ СОЗДАТЬ «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» ПУТЕМ ИМИТАЦИИ

§ 1. Настоящая статья в первом издании книги отсутствовала. Она добавлена уже после появления откликов на первое издание в связи с одним из этих откликов — рецензией Тэтяны Вилкул в киевском журнале «Ruthenica» (Вилкул 2005).

В книге был сделан вывод, что предположение о создании СПИ фальсификатором-лингвистом предельно маловероятно, поскольку он должен был обладать научными знаниями, которых его коллеги смогли достичь лишь на один-два века позже. В указанной рецензии этот тезис не оспаривается, но утверждается, что для создания СПИ в научных знаниях не было необходимости. Основной тезис нашего оппонента состоит в том, что фальсификатор мог достичь тех же результатов и без лингвистических знаний, путем одной лишь имитации прочитанных рукописей.

Рецензия шире по своей цели, чем просто отзыв о книге; это в сущности статья, декларирующая определенный взгляд на происхождение СПИ — один из возможных вариантов концепции поддельности этого памятника.

Автор рецензии — не лингвист, так что в данном случае мы имеем дело с таким же соотношением между профессией и взглядом на СПИ, как у Мазона, Зимина и Кинана. Более того, рецензент прямо противопоставляет себя лингвистам и стремится подвести читателя к тому заключению, что если моя книга что-либо и продемонстрировала, то только бессилие лингвистическо-

го подхода к проблеме происхождения СПИ: «Книга А. А. Зализняка чрезвычайно важна тем, что испытывает (*випробовуе*) границы лингвистических методов. Насколько можно судить, результаты оказываются неоднозначными» (с. 279). И далее (там же): «... собственный подход автор воспринимает как само собой разумеющийся и единственно возможный. В действительности же на создание фальсификата, как и на его разоблачение, можно смотреть с диаметрально противоположной перспективы. В ней, в этой перспективе, собранные автором доказательства подлинности превращаются в свою противоположность». За импозантным термином «диаметрально противоположная перспектива» здесь реально стоит не что иное, как приглашение смотреть на СПИ как на продукт простой имитации.

Итак, инструмент, с помощью которого наш оппонент единым ударом сбрасывает со счетов сразу всю лингвистическую аргументацию, — это тезис «фальсификатору не нужно было никакой лингвистики, он просто имитировал реальные рукописи».

Вопрос о том, можно ли создать СПИ путем прямой имитации реальных рукописей, уже рассматривался выше по ходу разбора различных конкретных вопросов (см. «Аргументы...», § 5, 7, 13, 23). Но в возникшей полемической ситуации оказалось целесообразно проанализировать более подробно те аргументы, которые выдвигаются в пользу версии о простой имитации. Это было сделано в статье Зализняк 2006. Именно эта статья положена в основу последующего изложения⁷⁴.

⁷⁴ Но эта статья все же не повторена здесь буквально. В данном случае существенна прежде всего сама проблема имитации, поэтому, например, опущены замечания по поводу некорректного пересказа рецензентом положений моей книги и т. п.

Одна из главных мыслей рецензии выражена так (с. 262): «Лингвистам свойственно преувеличивать доказательную силу филологических аргументов в спорах о фальсификатах. Между тем решающую роль тут играет не точная наука, а все-таки общественное согласие».

Со взглядами такого рода не спорят — это не констатация чего бы то ни было, а позиция. Теперь вообще очень в духе времени разоблачать веру в точную науку и приветствовать наступление эпохи, когда любое вольное предположение будет считаться ничем не хуже утверждений точной науки; главным аргументом будет «в это я верю, а в то не верю» или даже попросту «это мне нравится, а то не нравится», а истина будет достигаться общественным согласием. Идеи этого рода с энтузиазмом распространяются, например, нынешним телевидением.

Я буду далее рассматривать только вопросы лингвистики, а не общественного согласия.

Структура гипотезы о создании СПИ путем имитации

§ 2. Центральное утверждение нашего оппонента состоит в том, что всю приводимую мною аргументацию можно «повернуть в противоположную сторону», предположив, что СПИ создано в XVIII веке не путем применения лингвистических знаний, а путем имитации прочитанных фальсификатором древних рукописей.

В дискуссии о СПИ идея имитации — отнюдь не новая. Она в той или иной мере использовалась сторонниками поддельности СПИ неоднократно. Позиция нашего оппонента отличается лишь тем, что здесь эта идея положена в основу всей аргументации.

Итак, утверждается, что для подделки древнего текста нет необходимости знать орфографию, фонетику и

грамматику языка так, как ее знает современный лингвист. Все то же самое может быть достигнуто путем имитации на основе знакомства с некоторым количеством реальных текстов. Никакой лингвистической науки для этого не требуется.

Это утверждение есть не что иное, как гипотеза.

Т. Вилкул как будто не замечает этого фундаментального обстоятельства. Она подает это утверждение как нечто естественное и не требующее особых доказательств и дальше из него уже просто исходит в частных вопросах.

Между тем мы беремся утверждать: это не только гипотеза, но и гипотеза для конкретного случая с СПИ крайне маловероятная.

Рецензент не только утверждает, что имитация такого рода возможна. В ее изложении она предстает как не такое уж сложное дело, доступное любому мало-мальски способному имитатору; «... для накопления указанных Зализняком признаков не нужно лингвистической виртуозности», — пишет она (с. 263).

Мы же беремся здесь показать, что это глубокое заблуждение.

Если предположить, что СПИ создал гений имитации, то это предположение в строгом смысле слова опровергнуть невозможно, поскольку за гением при желании можно предполагать практически безграничные способности (любого рода). Сторонник этой идеи всегда может сказать: «Ну и что из того, что известные нам люди такой-то операции совершить не могут? Гений — мог». Поэтому такое предположение мы и не будем пытаться опровергнуть. Наш последующий анализ посвящен тому, чтобы показать истинный масштаб тех трудностей, которые должен был преодолеть предполагаемый имитатор, и то, сколь маловероятно, чтобы их мог преодолеть человек, не являющийся гением.

Прежде, чем переходить к дальнейшему, необходимо подчеркнуть, что рецензент полностью отвергает взгляд на фальсификатора как на ученого, познавшего научным путем закономерности древнего языка. Вероятно, этот отказ связан с тем, что фигура ученого, который в XVIII веке открыл все то, что его позднейшие собратья открыли за последующие два века, представляется рецензенту, так же как и мне, неправдоподобной. Впрочем, мне неважно, каков здесь мотив; существенно то, что я с таким отказом охотно соглашаюсь.

Взгляд на фальсификатора как на ученого рецензент называет заблуждением, вызванным тем, что мы мысленно подставляем современного человека на место человека XVIII века, а тот мог быть совсем иным. В ее концепции речь должна идти только о человеке, не причастном ни к какой лингвистической науке.

Соответственно, ниже мы будем рассматривать именно эту версию. Всякое предположение, что сочинитель СПИ в каких-либо вопросах прибегал к лингвистическому анализу, немедленно привело бы нас в сферу гипотезы, которую рецензент отверг. Иначе говоря, все дальнейшее касается только интуитивного имитатора, но никак не лингвиста.

Сформулируем те более частные гипотезы, из которых складывается указанная общая гипотеза (в рецензии они не формулируются прямо, но фактически необходимы для предлагаемых конкретных построений).

Гипотеза 1. Читая древнюю рукопись, одаренный человек, непричастный к лингвистической науке, может научиться имитировать ее язык с такой точностью, что будут правильно воспроизведены не только легко наблюдаемые ее характеристики (как употребление тех или иных слов, орфографические нормы, формы словоизменения и т. п.), но и глубинные характеристики, выявляемые только лингвистическим анализом (законо-

мерности порядка слов, закономерности распределения синонимических или квазисинонимических средств выражения того или иного значения, статистические отношения и т. п.).

Гипотеза 2. Читая несколько древних рукописей, тот же человек может научиться создавать такие тексты, где для одной части лингвистических параметров (таких, как, скажем, орфография, окончания склонения, количество сочинительных союзов) воспроизведены черты первой рукописи, а для другой части параметров — черты второй рукописи.

Уже первая гипотеза, выражаясь языком математики, чрезвычайно сильная. Вторая же еще намного сильнее первой.

Отсутствие документальных подтверждений

§ 3. Для того чтобы версия с неискушенным в науке имитатором оправдалась, нужно, чтобы оказались верными обе указанные гипотезы.

Документальной базы, которая позволила бы прямо ответить на вопрос о том, верна ли гипотеза 1, по-видимому, не существует. Это и понятно: проблему едва ли можно признать актуальной, и где найти объекты для изучения, неясно⁷⁵.

⁷⁵ ⁷⁵ Может быть, некоторое подобие такого эксперимента было возможно в эпоху, когда в СССР многие интеллигенты жадно читали югославские газеты «Борба» и «Политика», не имея ни грамматик, ни словарей; к лингвистике они, если не считать небольшого меньшинства, никакого отношения не имели. Можно представить себе, что кто-нибудь из них захотел начать сам сочинять по-сербски. Хотелось бы знать, нашелся ли бы хоть один такой любитель, чьи сочинения сербы признали бы (не из любезности, а всерьез) безошибочными. На мой взгляд, шансов на это очень мало. (Особенно

Отдаленным аналогом здесь, вероятно, может служить изучение иностранного языка человеком, переселившимся во взрослом возрасте в чужую страну.

Мы знаем, что некоторая часть таких людей через несколько лет научается говорить на иностранном языке как на родном (заметим, что эта часть весьма невелика, большинство продолжает говорить на нем не вполне хорошо или даже просто плохо). Как уже указывалось выше, полное овладение означает, что человек даже по всем совершенно не осознаваемым им параметрам (скажем, процент определенных артиклей, долевого соотношения разных прошедших времен, распределение синонимов, тонкости порядка слов и т.п.) совпадет с природными носителями.

Источником научения в таких случаях является длительное ежедневное общение с природными носителями языка.

Специально отметим, что родственная близость языков в этом отношении не только не помогает, а даже затрудняет полное овладение чужим языком. Скажем, научиться немножко говорить по-польски русскому человеку несопоставимо легче, чем немцу. Но овладеть безупречным польским ему труднее, чем немцу (мы говорим здесь не о фонетике, а о самом языке): там, где различие между русским и польским тонкое, родной язык будет постоянно толкать его в ложную сторону.

интересно, как были бы расставлены в таких сочинениях бесчисленные сербские энклитики!)

С другой стороны, можно было бы попытаться счесть экспериментом такого рода деятельность Ганки (хотя тут, конечно, мало шансов на то, что Ганка действовал интуитивно, а не как квалифицированный филолог). Но тогда это эксперимент с отрицательным результатом — язык подделок Ганки не выдержал той проверки, которую произвел Ян Гебауэр.

Может ли быть такое же научение на основе чтения текста, допустим, некоторой летописи? (Напомним, что древний этап родного языка в интересующем нас отношении аналогичен родственному языку.) Как уже говорилось, документальных данных на этот счет нет. Но все же сразу видно, что шансов здесь намного меньше:

1) объем летописи (даже большой) несопоставимо меньше, чем объем устной речи, воспринимаемой человеком за несколько лет; в частности, в ней встретятся примеры не на все морфологические и синтаксические моменты, подсознательное владение которыми составляет часть полного знания языка;

2) общение с летописью одностороннее — обучающийся не тренируется постоянно в произведении собственного текста, как при разговоре, и летопись, в отличие от собеседника, не поправит обучающегося или не покажет ему своим непониманием, что что-то нужно исправить.

Не говорим уже о том, что для обучения языку при жизни в чужой стране имеется мощный внешний стимул, тогда как при общении с летописью этот стимул нужно заменять чем-то другим, более искусственным.

В качестве еще одной отдаленной аналогии можно рассматривать деятельность пародистов (имеются в виду не устные выступления, а письменные или печатные тексты). Но они имитируют не язык, а стиль. И их главная цель состоит отнюдь не в том, чтобы в точности совпасть по всем параметрам с оригиналом (в этом случае пародийный эффект был бы совсем незначительным), а в том, чтобы иронически обыграть (или просто высмеять) часто повторяющиеся у данного автора приемы (определенные словечки, обороты речи, средства выразительности), а также его общую тональность. Часто пародист строит фразы так, чтобы они прямо напоминали публике какие-то известные ей места из по-

длинных сочинений автора. Обыгрываемые им приемы он непременно утрирует; со статистической точки зрения они оказались бы намного более частыми, чем в оригинальных произведениях. Общее количество разных элементов, которые «работают» на пародийный эффект, обычно бывает небольшим.

Что касается гипотезы 2 (о возможности имитации одной рукописи в одних пунктах и другой в других), то для нее документальной базы не существует и подавно.

При этом, если для ситуации, соответствующей гипотезе 1, еще мыслимы хотя бы отдаленные аналогии — из сферы изучения иностранных языков или пародирования, — то для случая с гипотезой 2 не видно даже и таких аналогий. Например, нет никаких сведений о том, чтобы кто-нибудь научился иностранному языку так, чтобы у него лексика была уличная, а синтаксис — из литературных радиопередач (или наоборот). И нет сведений о том, чтобы кто-либо строил пародии, например, так, чтобы выбранные словечки имитировали стиль одного автора, а синтаксические конструкции — стиль другого.

Таким образом, не обладает правдоподобием ни одна из этих гипотез, и важнейшей характеристикой обеих является полное отсутствие документальных или экспериментальных подтверждений. Ни наш оппонент, ни, по-видимому, и кто-либо иной не может предъявить ни одного реального примера имитации, отвечающей этим гипотезам. Иначе говоря, принятие этих гипотез есть чистый вопрос веры.

Особенности языка СПИ, трудные для имитации

§ 4. Но какие же элементы языка так уж трудно правильно воспроизвести при подражании оригиналу?

Об этом немало сказано в статье «Аргументы...». Но рецензенту каким-то образом удалось не заметить самого существенного в системе лингвистических аргументов, а именно: дело не сводится к тому, что в СПИ есть ряд таких же языковых явлений, как в реальных рукописях определенного класса, — например, двойственное число, препозиция *ся*, имперфект типа *бѣиеть*, В. мн. типа *сваты*, написания типа *копѣа*. Это факты лишь самого первоначального, поверхностного уровня наблюдения. Но рецензент на этом уровне полностью останавливается, в ее представлении лингвистическая характеристика памятника этим и ограничивается⁷⁶. Я даже не исключаю, что она именно из списков в статье «Аргументы...» увидела, как много подобных языковых сходжений между СПИ и реальными памятниками. И вот ее замечательный вывод — о том, что мои списки можно понимать как аргумент в пользу поддельности СПИ, т.е. прямо противоположно моему истолкованию! По ее мнению, раз для каждого такого явления нашлась рукопись, где оно тоже имеется, значит, имитатору достаточно было взять его из соответствующей реальной рукописи.

Но в действительности несравненно бóльшую информативную силу имеет не этот первоначальный уровень лингвистического наблюдения, а тот более глубокий, где учитывается не простой факт присутствия не-

⁷⁶ Это та же самая особенность взгляда на явления языка — когда видят только поверхностное, но не глубинное, — которую мы отмечали выше («Аргументы...», § 35а) у Зимина. Разница, правда, в том, что Зимин писал более четверти века назад, а наш оппонент сумел сохранить этот взгляд и после того, как познакомился с разбором именно этой проблемы в рецензируемой книге. Это хорошая иллюстрация того, сколь устойчив у нелингвистов стереотип отношения к языку.

которого элемента или некоторого явления, а системные отношения, в которые этот элемент вступает с другими элементами (во фразе или в парадигме). Это может быть, в частности, позиционное распределение (на каких местах во фразе должны стоять рассматриваемые элементы), *распределение равнозначных или близких по значению элементов* (например, энклитических и полноударных местоимений), количественное распределение (соотношение численности определенных групп элементов или конструкций), семантическая мотивация (соответствие употребления элемента его значению), сочетаемость (во фразе или в парадигме) с другими элементами или другими чертами⁷⁷.

И если подделать сам факт присутствия некоторого элемента во фразе можно, позаимствовав этот элемент из другой рукописи, то уследить за тем, чтобы в новой фразе он не пришел в противоречие со всеми названными видами системных отношений, в десятки раз сложнее. И вставляющий как правило просто не в состоянии сразу заметить все подобные последствия своей вставки⁷⁸.

А вот наш оппонент не видит ничего невозможного, например, в том, чтобы двойственное число в СПИ

⁷⁷ ⁷⁸ Именно проверка данных этого более глубокого уровня может показать, хорошо или плохо составлен текст на древнем языке, сочиненный человеком нового времени. Тем самым неверно, что при отсутствии живых носителей языка мы вообще не имеем возможности судить о качестве позднего сочинения на древнем языке.

⁷⁸ Некоторой аналогией здесь может служить современная правка при редактировании: хорошо известно, что после любой вставки, даже маленькой, во фразе что-то может нарушиться — от потерянного согласования до нарушения логики мысли, и это далеко не всегда удастся сразу заметить, а даже заметив, нередко нелегко исправить.

было получено путем заимствования целых отрезков из другого текста: «Остается, например, открытым вопрос: возможно ли правильное построение двойственного числа поздним стилизатором? Скажем, на основе использования блоков готового текста — так сказать, определенного типа "нарезанного" языка. (...) Таким образом мог быть, например, Ипатьевский список, где двойственное число представлено у огромного числа слов» (с. 265).

А что если не гадать, а взять на себя труд посчитать? В СПИ 38 различных словоформ двойственного числа (не считая ненадежных или записанных с буквенной ошибкой). Из них 10 — местоимения, числительные и связки, 28 — знаменательные (существительные, прилагательные, глаголы). Из этих 28 знаменательных словоформ в Ипатьевской летописи содержится всего две: мѣсаца и *рекоста*. А в 5 случаях нет даже и самой лексемы. Вот на каком замечательном основании стоят все рассуждения об «использовании блоков готового текста» (заметьте, даже не словоформ, а целых блоков!), которыми сторонники поддельности СПИ подбодряют друг друга.

§ 5. Чтобы рассуждение о двух уровнях лингвистических характеристик (уровне первоначального наблюдения и уровне более глубокого анализа) не осталось слишком абстрактным, приведем два примера. В обоих случаях в нашей книге даны сведения как первого, так и второго уровня. И в обоих случаях рецензент реагирует только на сведения первого уровня, а сведений второго уровня, несравненно более весомых для рассматриваемой проблемы, вообще не замечает.

Так, в статье «Аргументы...» (§ 9-14) подробно рассматривается лингвистический механизм расстановки энклитик. В частности, для энклитики *ся*, которая осо-

бенно важна для оценки правильности текста, показано, что существует восемь разных категорий (разрядов) синтаксических контекстов, в каждом из которых поведение этой энклитики обладает некоторой спецификой. Подсчеты, выполненные на серии памятников, демонстрируют существование нескольких классов древнерусских памятников, различающихся поведением *ся*. Напомним, что Ипатьевская летопись оказалась в данном отношении неоднородной — потребовалось, в частности, различать прямую речь светских лиц в Киевской летописи, авторскую речь там же и Галицко-Волынскую летопись.

Здесь, разумеется, незачем заново подробно излагать факты — см. «Аргументы...», § 12. Ограничимся тем, что представим (несколько упрощенно) основные итоги проведенных нами подсчетов в виде приводимой ниже таблички, где указан процент случаев препозиции *ся* в наиболее важных группах фраз. В табличку включено несколько древнерусских памятников XI–XIII вв. (с добавлением старославянского Мариинского евангелия) и для сравнения — СПИ.

	Начальное местоим.	Начальное существит.	Начальный глагол ⁷⁹
Ранние берест, грамоты	87%	75%	0%
Прямая речь в Киев. лет.	81%	57%	0%
Автор, речь в Киев. лет.	12%	3%	0%
Галицко-Волин. лет.	9%	5%	0%
Мариинск. ев. (Матфей)	15%	0%	0%
Житие Феодосия	1%	5%	0%
Слово о полку Игоре	100%	60%	0%

⁷⁹ Этот столбец, содержащий одни нули, на первый взгляд кажется излишним: ведь *ся*—энклитика, следовательно, оно не может оказаться в препозиции при начальном глаголе.

Легко видеть, что разные памятники имеют существенно различные наборы коэффициентов и что строка СПИ здесь более всего похожа на первые две строки этой таблички.

Вся эта часть нашего исследования прошла полностью мимо сознания рецензента. Т. Вилкул говорит о проблеме препозитивного *ся* так, как если бы для имитации этой особенности древнего языка было достаточно там и сям вставить в текст препозитивные *ся*. В частности, отмечая, что препозицию *ся* нельзя считать незаметной чертой, она пишет (с. 264): «... эта черта сразу же фиксируется сознанием уже на начальном этапе занятий славянской филологией. Соответственно, нужно ожидать, что и мистификатор обратил бы на нее внимание и использовал бы ее для имитации текста XII века».

Но ведь фальсификатор не просто вставил в свой текст некоторое количество препозитивных *ся*. Он сумел их дозировать так, что кривая распределения их плотности по разрядам (100% - 60% - 0%) получилась весьма сходной с ранними берестяными грамотами (87% - 75% - 0%) и с прямой речью в Киевской летописи (81% - 57% - 0%) и совершенно несходной с другими древними памятниками.

«Ну что же, значит, у него было изумительное интуитивное чувство языка!» — скажет нам сторонник интуитивной имитации.

Допустим, имитатор действительно как-то сумел зафиксировать в своем подсознании, что во фразах с на-

Но это известно только лингвисту, простой имитатор ничего этого не знает. Он должен сам как-то уловить эту особенность при чтении текстов — совершенно так же, как, например, ту особенность, что при начальном местоимении препозиция *ся* в ряде памятников случается часто.

чальным местоимением *ся* нужно ставить в препозицию всегда или почти всегда, а во фразах с начальным существительным — только примерно в половине случаев. Само это допущение уже предполагает исключительно сильные имитаторские способности. Но еще удивительнее, как он нашел себе оригинал для подражания. Понятно, что берестяными грамотами он для своей цели воспользоваться не мог. Остается только прямая речь в Киевской летописи. Но ведь это не сплошной текст: прямая речь все время перемежается с авторской речью; а авторская речь здесь имеет совсем другие показатели препозиции *ся*. Выходит, что наш имитатор еще и сумел сперва расслоить текст и впитывать в свое подсознание одни пласты текста, а другие не впитывать.

Другая сторона проблемы с препозитивным *ся*, не менее трудная для имитатора, состоит в том, в какую именно точку фразы его следует вставить. Например, во фразе *А чи диво ся, братіє, стару помолодити* 'а разве это диво, братья, старому омолодиться' энклитика *ся* стоит на месте, полностью соответствующем древнерусским синтаксическим автоматизмам. Но каким образом наш имитатор понял, что его не следует ставить, например, ни после *а*, ни после *братіє*? (это были бы прямые ошибки); ни после *чи*? (что́ было бы теоретически допустимо, но реально в памятниках не встречается). А буквально такой (или хотя бы близко сходной) фразы в Ипатьевской летописи нет. А в Задонщине в соответствующей фразе *ся* стоит попросту в постпозиции: *Добро бы, брате, в то время стару помолодится*. Конечно, когда речь идет об одной фразе, нельзя исключать простой случайности. Однако наш имитатор поставил *ся* на правильное место не только в этой фразе, а во всех без исключения фразах СПИ.

Одну из этих фраз выделю особо, поскольку она представляет собой едва ли не самый показательный камень преткновения для имитатора. Это фраза *Вежи ся Половецкѣи подвижашася* 'шатры половецкие зашевелились'. Ее оригинальнейшая особенность состоит в том, что *ся* здесь стоит между начальным существительным и согласованным с ним прилагательным (о втором *ся* — в *подвижашася* — речь пойдет ниже отдельно).

Такое положение *ся* идеально соответствует древнейшему правилу расстановки энклитик — закону Вакернагеля (см. «Аргументы...», § 9). Но во фразах с начальным сочетанием «существительное + прилагательное» эта древнейшая синтаксическая модель очень рано начинает вытесняться другими конструкциями; в древнерусских памятниках, даже XI–XII веков, она сохраняется лишь в очень редких случаях.

Если перед нами продукт имитации, то имитатор должен был располагать какими-то образцами. И вот как обстоит дело с фондом образцов. В Ипатьевской летописи *ся* встречается около 3600 раз. Из них один раз *ся* стоит во фразе, сходной по структуре с рассматриваемой фразой из СПИ: *си же СѦзлѡба соключи въ днѣ ст҃го Възнесены* 'а это несчастье случилось в день святого Вознесения' ([1093], л. 80 об.). Но даже и в этой фразе определение стоит не после существительного, а перед ним, и выражено не прилагательным, а местоимением (не говоря уже о том, что здесь нет второго СѦ после глагола и после начального слова, стоит не просто СѦ, а *же* СѦ). А все остальные кандидаты на статус образца отличаются от фразы из СПИ намного сильнее. Если же имитатор готов был опираться не только на Ипатьевскую летопись, но и на другие попадавшие ему рукописи, то тут его шансы были еще хуже: в большинстве древнерусских памятников, даже ранних (например, во всей новгородской

летописи, в Житии Андрея Юродивого, в «Иудейской войне» Иосифа Флавия, в «Пчеле»), ему не встретилось бы ни одного подходящего примера.

Дополнительной особенностью той же фразы из СПИ является так называемое двойное *ся*: помимо первого *ся*, поставленного по древнему правилу после начального слова, здесь имеется еще и второе, лишнее *ся*, поставленное по новому (позднему) правилу непосредственно после глагола: *подвизашася*. Такое *ся* изредка встречается в рукописях — иногда просто как ошибка оригинала, но чаще как результат поздней переписки: переписчик хотя и копировал механически древнее препозитивное *ся*, уже плохо пондаал его роль и добавлял недостающее, по его ощущению, *ся* после глагола. Именно этот второй тип происхождения лишнего *ся* в рассматриваемой фразе предполагается в рамках версии подлинности СПИ. Если же перед нами продукт имитации, то имитатор обладал неимоверной чувствительностью к редкостям, поскольку данный эффект встречается не чаще, чем один раз на несколько сот примеров с *ся*, причем в ранних рукописях его вообще почти никогда не бывает. Добавим к этому, что других фраз, кроме данной фразы из СПИ, где соединились бы эти две редчайшие особенности — *ся* между существительным и прилагательным и лишнее *ся* после глагола, — в обширном списке обследованных нами рукописей (включаящем, среди многого другого, все старшие летописи) нет вообще. Это яркий дополнительный штрих к оценке гипотезы о копировании «блоков готового текста».

Мы видим, что при сочинении данной фразы имитировать в точном смысле этого слова было уже просто нечего: нет готового оригинала для подражания. Есть только отдельные черты, к тому же чрезвычайно редкие, из которых предстояло «собрать» фразу для СПИ.

Их можно выявить лингвистическим анализом (хотя и отнюдь не самым простым). Но если подобная фраза получена каким-то иным путем, то перед нами уже не имитация, а интуитивная реконструкция ненаблюдаемого объекта. Как достичь в этом случае правильной реконструкции, совершенно неизвестно. Единственный мыслимый ответ: «Интуиция гения может всё!».

Таков действительный масштаб гениальности, который необходимо признать за нашим имитатором в одном только вопросе расстановки *ся*⁸⁰. На этом фоне особенно выразительно звучит уже известное нам заявление рецензента: «... для накопления указанных Зализняком признаков не нужно лингвистической виртуозности».

Между тем при версии подлинности здесь никаких проблем нет: в живой речи русские люди расставляли *ся* совершенно автоматически, в соответствии с бессознательным механизмом, усвоенным с детства. Так что при фиксации прямой речи достаточно было записывать так, как это обычно говорилось. А о происхождении лишнего *ся* уже сказано выше.

Другой такой же пример относится к имперфектам типа *бяхетъ*. Выше («Аргументы...», § 15, с. 75) пересказано замечательное достижение А. Тимберлейка, который установил, что в СПИ представлено такое же распределение двух морфологических вариантов имперфекта (с добавочным *-тъ* и без него, например, *бяхетъ* и *бяхе*), как в некоторой группе раннедревнерусских рукописей, включающей ту часть Лаврентьевской летописи, которая соответствует XII веку.

⁸⁰ Здесь нелишне заметить, что при изучении иностранного языка правильная расстановка энклитик — одна из самых трудных задач. Ошибки в этом отношении могут сохраняться даже у людей, достигших высокого уровня владения языком.

Наш рецензент замечает из этого только сам факт наличия в СПИ некоторого числа имперфектов с добавочным *-тъ* и комментирует так (с. 274): «В статье 1185 г. [Ипатьевской летописи], посвященной походу Игоря, необычайно большое количество форм имперфекта на *-тъ*. Так что тонкостей знать не надо, достаточно имитации».

Мы видим, что снова в поле зрения рецензента попадает только самый поверхностный пласт фактов, а наиболее существенное выпадает. Ведь любому серьезному лингвисту ясно, что для вопроса о происхождении памятника разница между просто присутствием какого-то числа имперфектов типа *бѣшетъ* наряду с обычным типом *бѣше* и распределением имперфектов этих двух типов по тому же правилу, что в Лаврентьевской летописи за XII век, громадна. Если в первом случае можно предполагать, что фальсификатор встречал формы имперфекта с *-тъ* и вставил их в разных местах наугад, то во втором случае при попытках объяснить этот факт в рамках версии фальсификации не обойтись без совершенно неправдоподобных допущений. Например, в варианте с простым имитатором придется допустить, что он сумел интуитивно впитать при чтении древних рукописей и эту морфологическую тонкость (т. е. именно такое распределение вариантов имперфекта), причем впитывать ее он должен был не из Ипатьевской летописи, которой он пользовался чаще всего, а из Лаврентьевской (поскольку в Ипатьевской распределение этих вариантов совсем другое). Или, наконец, придется обращаться к самому жалкому из прибежищ: объявлять эту особенность СПИ простой случайностью.

Опять-таки в версии подлинности тут никакой проблемы нет: в древней Руси бытовало несколько вариантов распределения форм типа *бѣшетъ* и типа *бѣше*; автор СПИ был носителем того же варианта, что у

авторов Лаврентьевской летописи на протяжении XII века. Заметим, что никакой специальной связи с Лаврентьевской летописью это не предполагает: вариантов распределения в этой сфере явно было немного.

§ 6. Обратимся еще к одному ряду фактов. Как показано выше («Аргументы...», § 18-22), в СПИ встречается, во-первых, некоторое число диалектизмов, например, *-са* вместо *-ся* в *врѣжеса*, *ш* вместо *с* в *шизый*, во-вторых, ряд характерных ошибок против орфографии или морфологии, например, *плѣночи* вместо *полночи*, Т. мн. *чепи* вместо *чепы* (= <ѣпы>), В. мн. *на живая струны* вместо *на живыя струны*. Все эти особенности встречаются также и в реальных рукописях XV-XVI вв., в том числе в списках с древних оригиналов. Если СПИ — подлинное древнее произведение, переписанное в XV-XVI в., то их объяснение не составляет никакой проблемы — они появились, как и в других поздних списках, под пером переписчика. Но если СПИ — это фальсификат, то приходится искать намного более сложные объяснения. При версии с имитацией объяснение состоит в том, что имитатор видел такие написания в прочитанных рукописях и затем перенес в свое сочинение.

Здесь следует прежде всего заметить, что имитировать редкие явления (будь то диалектизмы или ошибки) вообще намного труднее, чем массовые. Конечно, лингвист, который решил обмануть публику, мог бы сперва проанализировать все такие явления, а затем вставлять соответствующие написания сознательно, чтобы рукопись была больше похожа на подлинную. Но перед нами другая фигура — чуждый лингвистике имитатор. И нелегко понять, как ему удастся имитировать то, что рассеяно в рукописях в виде редких крошечных вкраплений. «Да просто он переносит в свой

текст некоторые бросившиеся ему в глаза своим необычным написанием словоформы, скажем, *сыновця* вместо *сыновця*», — могут нам сказать. Однако быстро обнаруживается, что таким способом можно объяснить только малую долю всех нестандартных написаний (подобно тому, как можно найти в готовом виде лишь малую долю нужных словоформ двойственного числа). Не будем тратить места на приведение длинных списков — достаточно словоформы *русици*, которой нет в других памятниках и которую, однако же, предполагаемый имитатор записал с диалектизмом: *ц* вместо *ч*. С другой стороны, предполагать, что просто он сам так же неосознанно ошибался, как северо-западные писцы XVI века, решительно невозможно: он же не носитель диалекта и не проходил школу письма XVI века, так что его привычки и автоматизмы — совершенно иные, чем у тогдашнего писца. Таким образом, имитатор неизбежно должен был строить многие словоформы с диалектизмами или типовыми ошибками самостоятельно. И как он достиг в этом правильных результатов, не будучи лингвистом, — загадка.

Рассмотрим для наглядности какой-нибудь конкретный пример этого рода, скажем, написание *-са* вместо *-ся* в *врѣжеса*. Этот диалектизм отражается в памятниках XV-XVI веков редко. В Ипатьевской летописи, которую рецензент считает главным источником заимствований в СПИ, он встречается всего один раз: *оурладивса* ([1172], л. 199 об.). Коль скоро перед нами работа интуитивного имитатора, опиравшегося на Ипатьевскую летопись, то мы неизбежно должны допустить следующее: читая эту летопись, длина которой — 218 тысяч слов, имитатор отложил в своем сознании (или подсознании) встретившуюся один раз словоформу *оурладивса*, причем не как единое целое, а именно как

пример словоформы с *са* вместо *СА*, и затем при сочинении СПИ один раз (либо помня, что это редкость, либо просто подсознательно) вместо обычного *СА* написал *са* (в словоформе *врѣжеса*).

Конечно, поразительно, что одна форма из 218 тысяч смогла отложиться в его (подсознании. Но еще более удивительно, как он, не будучи лингвистом, смог отличить *оурадивса* от форм с простыми описками (где, скажем, вместо *я* написано *ю*), которые тоже встречаются в летописи. А если его подсознание было столь мощным, что фиксировало безотказно все необычные формы подряд, то как ему удалось вставить в СПИ имитацию именно формы с реальным диалектизмом, а не формы с опиской? И каким образом он, не будучи лингвистом, по одному-единственному примеру *оурадивса* угадал, что дело здесь не в замене произвольного *я* на *а*, или *ся* на *са*, или *вся* на *вса*, а именно о замене показателя возвратности *ся* на *са*? Ведь, не разгадав этого, он имел бы совершенно одинаковые шансы на то, чтобы вставить в текст как *врѣжеса* вместо *врѣжеса*, так и, скажем, *вса* вместо *вся*, или *труса* вместо *труся*, или *всадемъ* вместо *всядемъ*, или *мѣсаца* вместо *мѣсяца*...

Случайность? Да, для единичного написания нельзя исключить и случайность. Но ведь мы привели случай с *-са* вместо *-ся* просто как образец — совершенно аналогичная картина обнаруживается и при анализе еще двух десятков диалектных черт или ошибок против грамматики; см. соответствующие параграфы нашего основного разбора. Целая серия маловероятных случайностей — это уже попросту чудо. Так что версия с лингвистически не подготовленным имитатором здесь в качестве объяснений ничего, кроме чуда, предложить, не может.

Трудности, связанные с подражанием нескольким источникам одновременно

§ 7. Рецензент в нескольких случаях пытается представить Ипатьевскую летопись как источник чуть ли не всех языковых особенностей СПИ⁸¹. В других случаях, в противоречии с этим, она говорит о том, что стилизатор должен был читать много разных рукописей (в основном северо-западного происхождения) и их орфография должна была быть для него привычной. И как мы увидим далее, допускает и то, что некоторые языковые черты фальсификата скопированы не с Ипатьевской летописи, а с какой-то другой рукописи, т. е. фактически опирается на сформулированную нами выше (§ 2) гипотезу 2.

Сомнений в том, что стилизатор должен был читать много рукописей, нет. Он, конечно, читал Ипатьевскую летопись, Задонщину и псковский Апостол 1307 года. Но общий список источников, откуда он должен был почерпнуть те или иные элементы текста, как давно установлено, гораздо шире. Следовательно, он должен был как-то познакомиться и с другими рукописями.

Лингвистические характеристики этих рукописей во множестве отношений различны. И здесь следует учи-

⁸¹ Например, она отмечает (с. 275), что в Ипатьевской летописи есть и некоторые элементы южнославянской орфографии. Их, правда, ничтожно мало для рукописи столь большого объема, но сам факт должен подталкивать читателя к мысли, что и эту черту стилизатор мог заимствовать из Ипатьевской летописи. Прискорбно то, что при этой демонстрации допущен элементарный ляпсус — в число якобы южнославянских написаний включено *жд* в словах *ворожда*, *вражда*. Не имеет отношения ко второму южнославянскому влиянию и *жд* из **zg*, **zdj* (*иждегъ*, *изъждень*): такие написания используются на протяжении всего древнерусского периода.

тывать, что при гипотезе об имитаторе, непричастном к науке, у такого человека практически не было средств понять, какая рукопись ранняя, а какая поздняя, какая северная, а какая южная и даже, например, какая русская, а какая сербская. Весь этот корпус был для него единым большим массивом текстов-источников.

В десятках, если не сотнях пунктов его сознание должно было фиксировать наличие вариантов. В одних рукописях имелось двойственное число, в других нет, причем среди первых не было единства в том, какими окончаниями это двойственное число выражалось. В одних рукописях аорист и имперфект образовывались по древним правилам и четко различались по значению, в других они смешивались и/или получали другие окончания, чем в древности, в третьих вообще не употреблялись. В одних рукописях *ся* было расставлено во фразах по древнейшим правилам, в других оно уже было в большинстве случаев перетянута в постпозицию к глаголу, в третьих препозиции *ся* уже не было вообще. Окончания склонения чуть ли не в каждой форме допускали варианты, которые иногда были распределены по разным рукописям, иногда конкурировали в тексте одной и той же рукописи. Орфография каждой рукописи имела свои особенности. Фонетический состав слов тоже варьировал в зависимости от места происхождения рукописи и большего или меньшего количества проникших в текст диалектизм.

На уровне лингвистического знания все это называется исторической грамматикой. В объеме, хотя бы сколько-то приближающемся к полному, все эти знания в состоянии держать в голове только самые высококвалифицированные филологи. Но мы здесь имеем право рассуждать только на уровне интуитивного имитатора. Гипотеза, необходимая для нашего оппонента, состоит в том, что в мозгу у имитатора имелся некий

эквивалент этой информации, не предполагающий никакой осознанной классификации явлений, однако же дающий возможность интуитивно строить тексты, имитирующие некоторую конкретную рукопись, — и даже не вообще, а в отношении конкретных языковых характеристик.

Здравому смыслу это представляется чудом.

Каким образом человек, чуждый лингвистике, сумел, например, справиться с трудностями, вытекающими из существования четырех разных прошедших времен, тогда как в его собственном языке было только одно? Он мог бы, конечно, считать их все простыми вариантами, но тогда как ему удалось правильно (если не считать всего нескольких примеров перфекта) распределить их в сочиняемом тексте?

Как он понял, например, что аорист надо брать от глаголов совершенного вида (кроме случаев, когда передается многократность действия) и глаголов движения, а имперфект — от остальных глаголов, а также от глаголов совершенного вида в многократном значении? Ведь это распределение уже сбито в поздних рукописях, а окончания аориста и имперфекта в них часто смешиваются. Как он сумел в море поздних испорченных форм аориста выбрать правильные древние формы? Даже лингвист Добровский не сумел этого сделать в своих *Institutiones* без ошибок.

Предполагать, что имитатор каждую конкретную глагольную словоформу видел в каком-то тексте и запомнил, невозможно. Ведь совершенно так же, как в случае с двойственным числом, в Ипатьевской летописи нашлась бы лишь малая часть нужных словоформ, а если бы он набирал их из произвольных рукописей, то они являли бы собой пеструю смесь всех окончаний и всех орфографий. Несомненно, он должен был какие-то словоформы строить самостоятельно. Мы видим, та-

ким образом, что интуиция нашего имитатора должна была быть мощнее аналитической мысли лингвистов.

Как этот человек сумел расставить *ся* по древним правилам, при том что в большинстве читанных им памятников они уже были расставлены по новым или по смешанным правилам? Научиться правильно расставлять энклитики очень непросто даже если образцом служит большой текст, где они всегда стоят на законных местах. А здесь речь идет об ограниченном числе фраз с расстановкой энклитик по древнему правилу, рассеянных среди гораздо большего числа фраз, уже не соответствующих древнему правилу. Ведь единственный существующий источник достаточно большого объема, где это правило работает без сбоев на протяжении всего текста, — это корпус берестяных грамот! Неслучайно до открытия берестяных грамот (точнее, до систематического анализа всего их корпуса) сам факт, что в древнерусском языке действовало это правило (известное по другим древним языкам), оставался по существу незамеченным.

Как он сумел распределить имперфекты типа *бѣшетъ* так, что они оказались в согласии с одним из древних вариантов их распределения, при том что в большинстве читанных им памятников, в частности, в Ипатьевской летописи, они были расставлены не так?

Таким образом, предположение о том, что имитатор выбрал себе в качестве ориентира Ипатьевскую летопись, настроился на нее и отключил из своего (подсознания) впечатления от других рукописей, — даже если допустить, что такое вообще возможно, — не проходит. Если двойственное число, аорист и имперфект действительно употребляются в Ипат. по древним правилам, то ситуация с *ся* и имперфектами типа *бѣшетъ* несравненно сложнее. Такое распределение препозитивных и постпозитивных *ся*, как в СПИ, представлено, как уже

указано выше, только в одном очень непросто вычленимом компоненте Ипат. — в прямой речи светских лиц в Киевской летописи; во всех остальных компонентах Ипат. (т. е. в 90% объема летописи) распределение *ся* другое. А распределение *бѣше* и *бѣшетъ* в СПИ вообще не совпадает с Ипатьевской летописью, а совпадает с Лаврентьевской.

Имеется и ряд других важных несовпадений с Ипатьевской летописью. Например, бессоюзие СПИ абсолютно не поддержано стилем Ипат., где союзов как раз очень много. Эту черту, по словам рецензента, стилизатор заимствовал из Задонщины⁸². Тем самым рецензент признает, что имитатор все-таки не мог ограничиться имитацией лишь одного памятника, а ориентировался на разные памятники в зависимости от того, о каком лингвистическом аспекте фразы идет речь.

Итак, получается, что, работая над своим сочинением, имитатор большей частью «настраивал» свое подсознание на Ипатьевскую летопись; но в вопросе о *ся* — только на один ее компонент (выделить который ему удалось каким-то загадочным образом). В вопросе об имперфекте типа *бѣшетъ* он «перенастраивал» свое подсознание на Лаврентьевскую летопись; в вопросе о бессоюзии — на Задонщину. Список легко продолжить, например: в вопросе о написании *ѹи* или *ѹы*, или о смешении *ѣ* и *е*, или о несмешении *ѣ* и *и* (в корнях) — на какой-то памятник типа псковской летописи, и т. д.

⁸² Отметим здесь саму идею, что бессоюзие в СПИ непременно должно было быть откуда-то заимствовано. Согласно Т. Вилкул, отсутствие столь высокочастотного бессоюзия в других памятниках XII века свидетельствует о поддельности СПИ. Она не замечает того, что тогда бессоюзие в Задонщине должно точно так же свидетельствовать о поддельности Задонщины, поскольку и в XV веке такого бессоюзия в других памятниках тоже нет.

Что можно сказать перед лицом всей этой картины в защиту версии имитации, кроме все того же: «Гений может всё»?

О принципе «наличие порядка информативнее, чем его отсутствие»

§ 8. Проведенный выше разбор конкретных элементов языка СПИ полезно дополнить некоторыми рассуждениями более общего порядка.

Всегда ли в СПИ сохранены древние правила распределения тех или иных элементов или грамматических форм? Нет, не всегда. И случаи нарушения древних распределений, естественно, оказываются аргументами против подлинности СПИ. Так, в СПИ несколько больше перфектов, чем ожидалось бы для текста XII века, и в нескольких случаях они стоят в контекстах, для перфекта неподходящих (см. об этом «Аргументы...», § 17). И сторонники поддельности, включая нашего рецензента, говорят: вот признак того, что писал человек нового времени, — он по ошибке вставил кое-где свои родные формы прошедшего времени.

Если бы других фактов, связанных с правилами распределения элементов, не было, этот аргумент в пользу поддельности был бы признан весомым. Но такие факты есть. В частности, таково рассмотренное нами древнее правило расстановки энклитик (т. е. их распределения по позициям в разных типах контекстов): оно соблюдено в СПИ очень хорошо.

И тогда встает вопрос: какой из этих двух фактов информативнее — хорошо соблюденное древнее распределение энклитик (= аргумент в пользу подлинности) или не полностью соблюденное распределение перфекта с другими прошедшими временами (= аргумент в пользу поддельности)? На первый взгляд, ситуация

симметричная и оба аргумента должны иметь одинаковый вес. Однако при более глубоком рассмотрении эта оценка оказывается неверной.

В соответствии с версией подлинности, СПИ прошло в ходе истории через одно или несколько переписываний. В процессе переписывания писец мог что-то сохранить, а что-то по недостатку внимания или старания изменить. Некоторое правильное древнее распределение могло из-за такой случайной помехи нарушиться. Напротив, плохо соблюденное распределение улучшиться от случайных помех не могло (точнее, вероятность этого события ничтожна); а исправить его сознательно поздний переписчик не мог, поскольку он уже не владел древним правилом. Поэтому полностью сохраненное древнее распределение есть надежное свидетельство того, что оно было в тексте и до переписывания. Напротив, плохо выдержанное распределение могло быть как старым (т. е. представленным уже в оригинале), так и возникшим в силу порчи от случайных изменений при переписывании.

В нашем случае это означает, что распределение энклитик было таким же и до переписывания, тогда как распределение перфекта могло быть и результатом порчи. (Последнее тем более вероятно, что нарушение состоит в превышении ожидаемой доли перфекта, а известно, что переписчики как раз во многих случаях неосознанно заменяли мертвый аорист или имперфект на живую форму прошедшего времени, т. е. перфект.) Перед нами здесь не что иное, как частное проявление общего принципа «наличие порядка информативнее, чем его отсутствие».

Если мы каким-либо образом удостоверились в том, что фальсификатор не мог знать правила распределения энклитик и не мог их правильно распределить методом имитации, то это фактически означает, что версия под-

дельности отпадает. И тогда неправильное распределение перфекта вынужденным образом должно объясняться как порча при переписывании (или как присутствовавшее уже в первоначальном тексте), но не как свидетельство поддельности. Тем самым проблема сводится только к вопросу о том, мог ли фальсификатор подделать распределение энклитик, — чем мы выше и занимались.

О соотношении объекта и его модели

§ 9. Изучаемый нами вопрос составляет лишь маленький частный случай гораздо более общей проблемы соотношения объекта и его модели (искусственного эквивалента). Частные случаи здесь могут быть чрезвычайно разнообразны. Это может быть картина знаменитого мастера и подделка под нее; сочинение, имитирующее древние или современные сочинения определенной категории (как выдаваемое за подлинное, так и не выдаваемое); самолет и его модель в виде физического предмета; атом и его модель в виде абстрактной схемы; реальное событие и его изображение в кино, в рассказе или в научной работе.

Общим во всех этих случаях является то, что модель не может воспроизвести все свойства моделируемого объекта. Она воспроизводит (или каким-то иным способом отражает) только некоторые из них, которые представляются автору модели важными. Остальными он пренебрегает, причем про существование большинства из них он просто ничего не знает. Такое соотношение неизбежно: ведь число свойств реального объекта безгранично, будь это даже простой стакан или камень.

В число свойств объекта входят, конечно, не только такие первичные, как размер, масса, цвет и т. п., но и

различные связи и отношения, в которых участвует объект в целом или его части между собой. Если объект — это некоторый текст, то количество его свойств огромно. Даже если взяться рассматривать среди них только те, которые относятся к языку (оставив в стороне литературные, исторические и др.), таких свойств окажется чрезвычайно много — ведь сюда входят не только общие характеристики, но и многочисленные фонетические, орфографические, морфологические, синтаксические, семантические детали. Скажем, для древнерусского текста сюда войдут в числе прочих и все те тонкие синтаксические явления, которые мы рассматривали выше.

Может возникнуть вопрос: если свойств так много, как могут люди их соблюсти в подлинном объекте, например, в подлинном тексте? Ответ состоит в том, что в языковом отношении подлинный текст есть продукт автоматизмов, которые закладываются в человеке с раннего детства. Текст возникает как своего рода натуральный продукт, все языковые характеристики которого определены привычной практикой, существовавшей до создания этого текста.

Если потребуется создать модель объекта, то, по общему принципу, в ней неизбежно окажется учтенной только часть (и даже точнее: очень малая часть) всех этих свойств. В частности, невозможно составить столь подробное лингвистическое описание текста, чтобы в нем оказались учтены все языковые характеристики текста. И дело здесь не только в том, что это очень долгая работа, но также и в том, что лингвисты еще не всё знают про язык — есть такие свойства языка, которые еще не выявлены.

Частным случаем создания модели является создание подделки. Если подделка создается на основе знания, то понятно, что она может правильно воспроиз-

вести только те свойства объекта, про которые имеется соответствующее знание, — следовательно, не все.

Иначе обстоит дело, когда подделка создается методом подсознательного подражания. Не касаясь таких сфер, как, например, подделка картин, ограничимся вопросом о подделке текстов. Здесь, разумеется, речь идет не о том, чтобы сделать копию какого-то уже существующего текста, а о том, чтобы создать текст, который нельзя отличить от текстов некоторого класса, скажем, от литературных сочинений такого-то века и такого-то жанра на заданном языке.

При создании поддельных текстов главная проблема, очевидно, состоит в полном или неполном владении языком. Если у имитатора и автора образцов один и тот же родной язык, тот же его диалект и языковые привычки одинаковой социальной среды, то со стороны языка продукт имитации будет неотличим от подлинника. Если это не так (т. е. при разнице эпох, разнице диалектов и т. п.), воспроизвести в подделке все свойства языка имитатор сможет лишь в том случае, если он усвоил чужой диалект или чужой язык безупречно. Как мы уже видели выше (§ 2) при разборе гипотезы 1, в случае древнего языка это, по-видимому, невозможно. Следовательно, также и в варианте с имитатором будут воспроизведены не все языковые свойства образцов.

Но если воспроизвести все свойства образцов так безмерно трудно, почему же в человеческой практике некоторые подделки и некоторые имитации все-таки удаются?

Ответ прост: потому что люди обычно не замечают тонких несходств. Например, подлинность или поддельность картины нередко могут установить только высококвалифицированные эксперты, а в глазах всех остальных людей поддельная и оригинальная картина

одинаковы. Это значит, что эксперты знают такие свойства, не замечаемые остальными людьми, которые присутствуют только в подлинных картинах и недоступны фальсификаторам или, наоборот, никогда не бывают у подлинных картин.

Все это уже очень похоже на проблемы, связанные с СПИ. С той же естественностью, с которой художник XII века использовал краски, существовавшие в его время в его стране, сочинитель XII века расставлял энклитики в соответствии с автоматизмами языка своего времени. Допустим, экспертам известно, что производство одной из таких красок после XII века во всем мире прекратилось; тогда представленная на суд картина, где химический анализ показал присутствие данной краски, очевидно, будет признана подлинным древним произведением.

Аналогично этому, если каким-либо образом установлено, что фальсификатор не мог знать или не мог воспроизвести древнее распределение энклитик, то СПИ должно быть признано подлинным сочинением. Вопрос сводится, таким образом, только к тому, верно ли, что он этого достичь не мог (если пренебречь исчезающе малой вероятностью того, что распределение энклитик у него вышло случайно). Заметим, что сходство здесь еще и в том, что, подобно тому, как присутствие в картине краски определенного химического состава совершенно неощутимо для обычного зрителя, так и особенности распределения энклитик в тексте совершенно незаметны для лингвиста и ровно ничего ему не говорят.

Печально известная теория А. Т. Фоменко гласит, что наше представление о мировой истории есть выдумка фальсификаторов. Например, они якобы изобрели историю древнего Рима, выдумав конкретных лю-

дей, их биографии, их дела и подвиги, их язык, их сочинения, их многообразные связи и отношения между собой, условия их жизни и материальной культуры (см. об этом подробнее Зализняк 2000, 2001). Главная причина, по которой эта идея должна быть признана абсурдной, состоит в том, что в реальной жизни все бесконечно сложные переплетения людей, событий и судеб складываются естественным путем по своим, тоже бесчисленным, причинам. (От концепции предначертанности всех событий мы позволим себе здесь отвлечься; но все же заметим, что и в этой концепции источником предначертания может быть только божество, но никак не люди.) А в фиктивном мире, выдуманном фальсификаторами, заменить все эти бесчисленные взаимосвязи должен интеллект фальсификаторов. Поверить в успех такого замысла можно только признав за этим интеллектом такую же мощность, как у божества, т. е. всеведение.

Поучительный факт, связанный с теорией Фоменко, состоит в том, что немало людей этой теории поверило. Этим людям кажется простым и очевидным принцип: «выдумать можно решительно что угодно»; контрольный механизм, который проверял бы степень правдоподобия идеи, у них не работает.

О теории Фоменко полезно помнить и при разборе вопроса о поддельности СПИ. Разумеется, я ни в коем случае не хочу сказать, что версия поддельности СПИ — такая же абсурдная, как теория Фоменко. В данном случае мы имеем дело с серьезной научной проблемой, а не с откровенными фантазиями. Но общий элемент состоит в легковерии тех, кто готов считать задачу предполагаемого фальсификатора не такой уж сложной.

В частности, ровно на этой точке зрения стоит Т. Вилкул. Тех разделов нашей книги, где показано, в

чем именно состояла сложность, она как бы вообще не заметила.

К сожалению, это очередная иллюстрация того застарелого непонимания, которое нередко встречаются результаты лингвистического анализа у других гуманитариев, — когда они считают возможным, выдвинув какие-нибудь поверхностные, абсолютно не выдерживающие серьезной профессиональной проверки возражения или даже вообще не вникая в суть дела, высокомерно отмахнуться от лингвистических доводов.

Дополнительный пример языковых особенностей СПИ

§ 10. Выше уже указывалось, что конкретных частных закономерностей, которые проявились в языке СПИ, много и что мы демонстрируем здесь лишь примеры.

В свете того, о чем шла речь в предыдущем параграфе, можно сделать и более сильное утверждение: если СПИ — подлинное древнерусское произведение, то в нем непременно должны быть реализованы и какие-то такие закономерности, которых лингвисты в нем пока что не заметили (или которые им еще вообще неизвестны).

Вот один эпизод моих занятий древнерусским синтаксисом, который имеет прямое отношение к данной проблеме.

Уже после выхода в свет первого издания настоящей книги я занимался изучением истории древнерусских энклитик и в ходе этой работы, в частности, исследовал процесс постепенной замены древних энклитических местоименных словоформ {*ми, мя, ти, ты, ны, вы*) полноударными: *мѣнѣ, мене* (позднее *меня*), *тебѣ, тебе* (позднее *тебя*), *намѣ, насѣ, вамѣ, васѣ*.

Имеются синтаксические позиции, где полноударные местоимения употреблялись издревле. Такова, в частности, позиция в начале фразы или после частиц *не, ни* и союзов *а, и, но*, позиция после предлога (последняя только для местоимений дательного падежа) и некоторые другие. В этих позициях полноударные местоимения совершенно регулярно выступают также и во всех позднейших памятниках.

В прочих *позициях древнейшая норма требует употребления* энклитических вариантов местоимений. Для этих позиций выявляется следующая картина.

В памятниках домонгольского времени (ранние берестяные грамоты, прямая речь в Киевской летописи, Житие Феодосия, Житие Андрея Юродивого, «Иудейская война» Иосифа Флавия и др.) в единственном числе древнейшая норма еще выдержана очень хорошо: в 88-99% случаев выступают именно энклитики — *ми, мя, ти, тя* (а не *полноударные мѣнѣ, мене, тебѣ, тебе*, как в позднем языке).

Но во множественном и двойственном числе картина совсем другая. Доля сохранных энклитик *ны, вы, на, ва* составляет в берестяных грамотах XI-XII вв. и в прямой речи в Киевской летописи 60-70%, в литературных памятниках того же времени — лишь от четверти до половины.

В памятниках послемонгольского времени мы застаем картину намного более продвинутой эволюции. Так, в берестяных грамотах в единственном числе энклитические местоимения сохраняются в XIII в. в двух третях случаев, в XIV-XV вв. — менее чем в половине. Во множественном числе энклитик уже практически нет (а двойственное число вообще исчезло). А в письмах Василия Грязного (1576 г.) энклитических местоимений уже нет вообще — как в современном языке.

В приводимой ниже таблице указан процент сохранения энклитических местоимений 1-го и 2-го лиц в Д. и В. падежах в нескольких памятниках XI-XVI вв. В одном столбце просуммированы данные по местоимениям единственного числа {*ми, мя, ти, тя*), в другом — по местоимениям множественного и двойственного числа (*ны, вы, на, ва*).

	ед. число	мн. + дв. число
Берест, грамоты XI-XII вв.	94%	60%
Прямая речь в Киев. лет.(XII в.)	89%	71%
Житие Андрея Юрод. (XII в.)	95%	53%
Житие Феодосия (XII в.)	99%	25%
Иосиф Флавий (XII в.)	88%	24%
Берест, грамоты XIII в.	67%	—
Берест, грамоты XIV-XV вв.	45%	0%
Василий Грязной (1576 г.)	0%	—

Когда я получил приведенные здесь данные, возникла мысль, что было бы интересно проверить с этой точки зрения также СПИ. И вот что оказалось:

Слово о полку Игореве	100% (12 случаев из 12)	33% (1 случай из 3)
-----------------------	----------------------------	------------------------

Ввиду ограниченности материала здесь, конечно, нельзя придавать большого значения точным цифрам процентов. Но все же ясно, что данные СПИ — того же порядка, что у домонгольских памятников. Это очередной пример того, что в СПИ соблюдена древняя норма в пункте, где в послемонгольское время эта норма уже была частично или полностью разрушена.

Сторонник версии поддельности мог бы здесь, правда, предположить, что фальсификатор заметил существ-

зование древней модели и просто провел ее механически по всем случаям. Но быстро обнаруживается, что это не так. Во-первых, в синтаксических позициях, где полноударные местоимения употреблялись издревле, в СПИ правильным образом стоят именно они (например: *Възлелѣи, господине, мою ладу къ мнѣ* 180; ... *ни соколу, ни кречету, ни тебѣ, чръный воронъ, поганый Половчине!* 41). Во-вторых, один раз употреблено полноударное *намъ* в позиции, где древняя норма требовала энклитики *ны* (*Уже намъ своихъ милыхъ ладъ ни мыслю смыслити, ни думою сдумати, ни очима съглядати* 83) и один раз полноударное *наю* в позиции, где древняя норма требовала энклитики *на* (*то почнуть наю птици бити въ полѣ Половецкомъ* 208).

Отклонения от древнейшего правила в последних двух фразах оказываются особенно показательными — они приходится на множественное и двойственное число, т. е. они совершенно такие же, как в реальных памятниках XII века.

Таким образом, сверх того, что нам было уже известно, в СПИ оказалось соблюденным еще одно весьма деликатное распределение, где фальсификатор, если таковой имелся, должен был соблюсти (неважно, с помощью лингвистического анализа или без него): 1) ориентацию на домонгольские памятники, но не на более поздние; 2) разделение синтаксических позиций на требующие полноударных местоимений и на требующие энклитик; 3) отличие в поведении энклитик единственного числа от поведения энклитик множественного и двойственного числа, характерное для домонгольской эпохи.

Выходит, что двести лет никто не обращал внимания на детали процесса вытеснения энклитик полноударными местоимениями, а великий фальсификатор XVIII века этими деталями уже овладел — будь то методом познания или методом интуиции.

Воистину, это был величайший гений фальсификации, коль скоро его продукт обладает тем свойством, что чем больше его сторон подвергается контролю (в том числе случайному, как в данном эпизоде), тем больше обнаруживается схождений с бесспорными древними памятниками.

Подведем итоги проведенного разбора проблемы имитации.

Если СПИ — это произведение XII—XIII веков, переписанное в XV-XVI веке, то с точки зрения истории письменного текста перед нами вполне рядовой случай: языковые характеристики СПИ совпадают (пусть не во всех деталях, но во всем основном) с известными ныне характеристиками большого числа реальных рукописей с такой историей.

Если же СПИ — это фальсификат, где неосознанно воспроизведены десятки языковых черт, свойственных указанной категории рукописей, то это уникальный факт мировой истории письменности, для которого ни наш рецензент, ни кто-либо другой не может привести ни одного засвидетельствованного аналога. Рецензент просто верит, что это возможно, и читателю предлагается в это тоже просто поверить.

Является ли отстаиваемое рецензентом предположение безусловно невозможным? Нет, не является. В ситуации, когда нет документальных данных, можно предполагать что угодно, в частности, что человеческая способность имитации безгранична. Но названная ситуация не является для науки чем-то беспрецедентным. Она возникает в науке не так уж редко, и хорошо известно, что в этих случаях наука занимается тем, что оценивает не только возможность или невозможность, но и вероятность каждого предположения.

Рецензент пытается представить задачу имитатора как не слишком сложную. Но документальный анализ тех трудностей, которые он должен был преодолеть, показывает всю несерьезность такой оценки. Если работал имитатор, то он мог быть только абсолютным гением имитации. И этим, естественно, определяется и степень вероятности всей версии.

Итак, предположение об имитаторе, чуждом лингвистической науке, не невозможно, но предельно маловероятно. Напомню, что предположение о фальсификаторе-лингвисте, достигшем всех необходимых для такой фальсификации научных знаний на один-два века раньше всех своих коллег, тоже предельно маловероятно, хотя уже по другим причинам (которые были подробно обсуждены в основной части настоящей книги). Тем самым предельно маловероятна и вся версия фальсификации.

Иначе говоря, в качестве общего заключения нашей книги мы можем, как и до введения в нее дополнительных полемических разделов, предложить читателю «Заключение» к ее основной части («Аргументы...», § 38).